СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Миронович
КИРОВ



Иностранная литература

Джэймс Джойс

Похороны Патрика Дигнэма

Отрывок из „Улисса“

Мартин Кэнингхэм первым всунул оцилиндренную голову в скрипучую карету и, ловко протиснувшись, уселся. М-р Пауер шагнул за ним, осторожно согнув свое длинное тело.

— Садитесь, Саймон.

— После вас, — сказал м-р Блум.

М-р Дэдалус быстро надел шляпу и влез со словами:

— Да, да.

— Все уселись? — спросил Мартин Кэннингхэм. — Давайте, Блум.

М-р Блум вошел и сел на свободное место. Он потянул за собой дверь и крепко прихлопнул ее, так что она захлопнулась. Он всунул руку в поручень и серьезно поглядел из открытого окна кареты на спущенные шторы улицы. Одна отодвинута вбок: какая-то старуха выглядывает. Нос добела приплюснут к стеклу. Благодарит судьбу, что ее пронесло. Удивительно как они интересуются трупами. Радуются, когда мы уходим, — мы им доставляем столько волнений, когда приходим. Нравится им это дело. Шушукаются по углам. Шмыгают в шлепанцах, только бы не проснулся. Потом приготавливают его. Укладывают. Молли и миссис Флеминг стелят постель. Потяните-ка чуточку к себе. Наш саван. Неизвестно, кто тебя будет трогать, когда ты умрешь. Помыть и шампунем. Кажется, стригут ногти и волосы. Хранят обрезки в конверте. Все равно потом отрастают. Грязное дело.

Все ждали. Никто ничего не говорил. Укладывают венки, должно быть. Я сижу на чем-то твердом. Ах, да, мыло в заднем кармане. Надо будет вынуть. Подожду, когда будет удобно.

Все ждали. Потом впереди раздался шум, завертелись колеса. Потом ближе. Потом копыта. Толчок. Карета двинулась, скрипя и раскачиваясь. Сзади зацокали еще копыта и заскрипели колеса. Мимо поплыли шторы улицы и номер 10 с дверным молотком в крепе, двери настежь. Шагом.

Они всё ждали, тряся коленями, покуда не свернули и не поехали вдоль трамвайных рельсов Тритонвилл-род. Скорей. Колеса, крутясь, громыхали по булыжной мостовой, и сумасшедшие стекла тряслись, громыхая в дверных рамах.

— Как он нас везет? — спросил м-р Пауер в оба окна.

— Айриштаун, — сказал Мартин Кэннингхэм. — Рингсэнд. Брунсвикстрит.

М-р Дэдалус кивнул, выглянув.

— Чудесный старый обычай, — сказал он, — я рад, что он не вымер.

Некоторое время все смотрели в окна на прохожих, снимавших кэпи и шляпы. Уважение. Карета свернула с трамвайного пути на более ровную дорогу мимо Уотери-лэйн. М-р Блум пристально смотрел вслед изящному молодому человеку в трауре, в широкополой шляпе.

— Вот прошел ваш друг, Дэдалус, — сказал он.

— Кто именно?

— Ваш сын и наследник.

— Где он? — сказал м-р Дэдалус, перегибаясь через соседей.

Миновав разрытые сточные канавы и холмы развороченной мостовой перед казарменными домами, карета нырнула за угол и, снова выехав на трамвайный путь, загрохотала дальше разболтанными колесами.

М-р Дэдалус откинулся и сказал:

— Был с ним этот прощалыга Мэллинган. Это его bidus Achates.

— Нет, — сказал м-р Блум. — Он был один.

— Наверно был у своей тетки, у Салли, — сказал м-р Дэдалус, — у Гулдингов, пьяненький чинуша и Крисси, папенькина какашка, умный ребеночек, хорошо знающий своего отца.

М-р Блум безрадостно улыбнулся на Рингсэнд-род. Бутылочная фабрика бр. Голлес. Доддер-бридж.

Ричи Гулдинг и портфель с делами. Гулдинг, Коллис и Уорд называет он фирму. Его шутки становятся пошловатыми. А был бедовым парнем. Танцовал как-то раз в воскресенье утром вальс с Игнэшиэсом Галлахером на Стэмер-стрит, напялив на голову две хозяйкины шляпы. Хлестал всю ночь напролет. Теперь все сказывается: эти его боли в спине, боюсь я. Жена гладит ему утром спину утюгом. Думает, что вылечится пилюлями. Все до одного — лишь хлебные крошки. Свыше 600 процентов дохода.

— Он возится с какими-то подонками, — проворчал м-р Дэдалус. — Этот Мэллигэн во всех смыслах законченный, закоренелый, отпетый негодяй. Его имя воняет по всему Дублину. Но с помощью божьей и его преснобла-женной матери я на-днях напишу такое письмо его мамаше или тете, или кто у него там есть, что она глаза выпучит. Я ему еще покажу, где раки зимуют, можете мне поверить.

Он старался перекричать стук колес.

— Я не желаю, чтобы этот ублюдок, ее племянник, губил моего сына. Сын приказчика. Продает галантерею у моего кузена, Питера Пола Мак-Суини. Нечего сказать!

Он замолчал. М-р Блум перевел взгляд с его гневных усов на кроткое лицо м-ра Пауера и на глаза и важно колышущуюся бороду Мартина Кэнингхэма. Шумный, своевольный человек. Носится со своим сыном. Он прав. Что-то можно передать. Если бы малютка Руди был жив. Видеть, как он подрастает. Слышать его голос в доме. Идет в итонской куртке рядом с Молли. Мой сын. Я в его глазах. Странное чувство было бы. От меня. Чистая случайность. Должно быть в то утро в Раймонд-террас, она стояла у окна, смотрела на двух собак, которые занимались у стены бросьте делать гадости. И ухмыляющийся сержант. На ней был тот кремовый халат с прорехой, которую она никак не удосуживалась заштопать. Ну-ка, Польди, давай и мы. Господи, я не выдержу. Так начинается жизнь.

Стала потом брюхатой. Пришлось отказаться от грейстонского концерта. Мой сын в ней. Я бы его поставил на ноги. Я мог бы сделать его независимым. Научить по-немецки.

— Мы опаздываем? — спросил м-р Пауер.

— На десять минут, — сказал Мартин Кэннингхэм, глядя на часы.

Молли. Милли. То же самое, только пожиже. Ругается как мальчишка. Ах, чорт подери! Разрази меня бог! Все-таки славная девчонка. Скоро [illegible] женщиной. Мэллингар. Миленький папуля. Молодой студент. [illegible] женщина. Жизнь. Жизнь.

Карету тряхнуло вперед и назад, четыре туловища закачались.

— Корни мог бы дать нам колымагу поудобней, — сказал м-р Пауер.

— Конечно, — сказал м-р Дэдалус, — если бы он не косил. Вы меня понимаете?

Он прищурил левый глаз. Мартин Кэннингхэм начал сметать хлебные крошки из-под своих ляжек.

— Что это такое, — сказал он, — чорт возьми! Крошки.

— Кто-нибудь, вероятно, ездил на пикник, — сказал м-р Пауер.

Все приподнялись, неодобрительно осмотрели прелую, с оборванными пуговками кожу сидений. М-р Дэдалус сморщил нос, нахмурился и сказал:

— Или же я жестоко ошибся. Как по-вашему, Мартин?

— Я тоже был удивлен, — сказал Мартин Кэннингхэм.

М-р Блум опустил свои ляжки. Хорошо, что я принял ванну. Ноги абсолютно чистые, я чувствую. Вот только миссис Флеминг могла бы получше заштопать носки.

М-р Дэдалус смиренно вздохнул.

— В конце концов, — сказал он, — это самая естественная вещь на свете.

— Том Кернан тоже едет? — спросил Мартин Кэннингхэм, слегка покрутив кончик своей бороды.

— Да, — ответил м-р Блум. — Он сзади с Недом Ламбертом и Хайнзом.

— А сам Корни Келлехер? — спросил м-р Пауер.

— На кладбище, — сказал Мартин Кэннингхэм.

— Я сегодня утром встретил Мак-Коя, — сказал м-р Блум. — Он сказал, что постарается притти.

Карета резко остановилась.

— Что случилось?

— Мы стоим.

— Где мы находимся?

М-р Блум высунул голову из окна.

— Большой канал, — сказал он.

Газовый завод. Говорят, излечивает от коклюша. Хорошо, что у Милли его никогда не было. Бедные дети. Сгибаются пополам, чернеют и синеют от конвульсий. Прямо ужасно. В смысле болезней сравнительно легко отделалась. Только корь. Чай из льняного семени. Эпидемии скарлатины, инфлуэнцы. Кампания в пользу смерти. Не упускайте удобного случая. А вон там приют для собак. Бедный старый Атос. Будь ласков с Атосом, Леопольд, это мое последнее желание. Да будет воля твоя. Мы покорны им до могилы. Предсмертные каракули. Он принял близко к сердцу, зачах. Спокойное животное, как все собаки, принадлежащие старикам.

Дождевая капля плюнула на его шляпу. Он отодвинулся и увидел, как мгновенный дождь брызнул пунктиром на серые тротуарные плиты. Отдельными каплями. Забавно. Как сквозь сито. Так я и думал. У меня башмаки скрипели, теперь вспоминаю.

— Погода меняется, — сказал он спокойно.

— Жалко, что она портится, — сказал Мартин Кэннингхэм.

— Полезно для сельского хозяйства, — сказал м-р Пауер. — А вот и солнце выглянуло.

М-р Дэдалус, щурясь сквозь очки на затуманенное солнце, швырнул в небо немое проклятье.

— Капризно, как зад младенца, — сказал он.

— Поехали.

Неповоротливые колеса кареты снова завертелись, и их тела слегка заколыхались. Мартин Кэннингхэм стал еще быстрей крутить кончик своей бороды.

— Том Кернан был вчера вечером прямо великолепен, — сказал он. — А Пэдди Леонард идеально копировал его.

— Это еще что, Мартин, — оживленно сказал м-р Пауер. — Вы послушайте, Саймон, что он говорит о пении Бена Долларда, как тот поет „Юного мятежника“.

— Колоссально, — важно сказал Мартин Кэннингхэм. — „За всю мою практику, Мартин, я еще ни разу не слышал более яркого исполнения этой в сущности такой простой баллады“.

— Яркого! — сказал м-р Пауер, смеясь. — Он прямо-таки помешался. И еще в обратном порядке!

— Читали речь Дана Даусона? — спросил Мартин Кэннингхэм.

— Еще не успел, — сказал м-р Дэдалус. — Где она была напечатана?

— В утренней газете.

М-р Блум достал газету из внутреннего кармана. Да, надо еще обменять ей книжку.

— Нет, нет, — быстро сказал м-р Дэдалус. — Пожалуйста, потом.

Взгляд м-р Блума скользнул вниз по краю газеты, остановился на смертях: Кэллэн, Колмэн, Дигнэм, Фаусетт, Лаури, Науман, Пик, который это Пик? не тот ли, что у Кросби и Аллейна? Нет, Секстон, Орбрайт. Печатные буквы быстро стираются с волокнистой, ломкой бумаги. Благодарность Литтл Флауер. Оплакивают потерю. К невыразимой скорби его... В возрасте 88 лет, после долгой и мучительной болезни. Панихида по усопшему Квинлэну. Да смилуется Иисус Сладчайший над его душой.

Вот уж месяц прошел незаметно с тех пор
Как наш Генри покинул семью
Безутешно скорбя, с ним надеемся мы
Повстречаться в господнем раю.

Я конверт разорвал? Да. Куда я сунул письмо, после того как прочел его в ванне? Он ощупал жилетный карман. Так, все в порядке. Наш Генри покинул семью. Пока у меня не лопнуло терпенье.

Народное училище. Двор Мида. Ломовые клячи. Сейчас их всего две. Кивают. Нажрались до отвала. Черепа у них слишком костистые. Другие возят седоков. Час тому назад я тут проходил. Кучера снимали шапки.

Выпрямленная спина стрелочника внезапно прижалась к трамвайному столбу перед окном м-ра Блума. Почему бы не изобрести что-нибудь такое автоматическое, чтобы колесо само, гораздо удобней. Ну да, тогда этот парень потеряет работу. Ну да, а кто-нибудь другой получит работу, будет реализовать новое изобретение.

Старый концертный зал. Ни чорта там нет. Человек в кожаной куртке с крепом на рукаве. Вид не особенно скорбный. Четверть траура.

Они проехали мимо сумрачного портика церкви св. Марка, под железнодорожным мостом, мимо театра Королевы: в молчаньи. Рекламные щиты. Юджин Страттон. Миссис Бандманн Памер. Смогу я сегодня вечером попасть на „Лию“? Я сказал я. Или на „Лилию Килларни“? Оперная труппа Элстера Граймза. Полная перемена программы. Влажные, яркие афиши на следующую неделю. „Бристольская шутка“. Мартин Кэннингхэм мог бы

устроить контрамарку в „Гэйти“. Придется ставить выпивку. Шило на швайку.

Он придет после обеда. Ее песни.

Пласто. Фонтан с бюстом сэра Филиппа Крэмптона. Кем он был?

— Здравствуйте, — сказал Мартин Кэннингхэм, поднося в знак приветствия ладонь ко лбу.

— Он нас не видит, — сказал м-р Пауер. — Нет, видит. Здравствуйте.

— Кто? — спросил м-р Дэдалус.

— Блэйзис Бойлэн, — сказал м-р Пауер. — Вон он снимает свой парик.

А я о нем как раз думал.

М-р Дэдалус нагнулся, чтобы поздороваться. С порога Красного банка белый диск соломенной шляпы взметнулся в ответ: мимо. М-р Блум осмотрел ногти на левой руке, потом на правой. Ногти, да. Что в нем еще есть, что они, она видит? Обаяние. Самая гнусная личность во всем Дублине. Этим он и держится. Иногда они чувствуют нутро человека. Инстинкт. Но этакий тип! Мои ногти. Я как раз смотрю на них — хорошо подстрижены. А потом: думает, одна. Тело чуточку дряблеет. Я замечаю, потому что помню, какой она была раньше. Наверно оттого, что кожа не успевает стягиваться, когда мясо опадает. Но формы еще есть. Формы еще остались. Плечи. Бедра. Зад. Тот вечер, когда она собиралась на бал. Рубашка защемилась между ягодицами.

Он зажал руки между коленями и, удовлетворенный, поглядел пустым взглядом на их лица.

М-р Пауер спросил:

— Что слышно с концертным турнэ, Блум?

— О, все очень хорошо, — сказал м-р Блум. — Я получаю самые лучшие отзывы. Понимаете, это блестящая идея...

— Вы тоже поедете?

— Нет, — сказал м-р Блум. — Дело в том, что я должен съездить по частному делу в округ Клэр. Понимаете, они решили останавливаться только в больших городах. В одном доложили — в другом заработали.

— Совершенно верно, — сказал Мартин Кэннингхэм. — Мэри Андерсон тоже поехала.

— У вас хорошие актеры?

— Делом руководит Луис Вернер, — сказал м-р Блум. — О да, у нас сплошь первоклассные номера. Дж. К. Дойл и Джон Мак Кормак, я надеюсь, и. Действительно первый сорт.

— И *мадам*, — сказал м-р Бауер, улыбаясь. — На последнем месте, но не последняя.

М-р Блум застенчиво-вежливым жестом высвободил руки и опять зажал их. Смит О'Брайен. Кто-то возложил букет. Женщина. Должно быть, годовщина смерти. Даст бог, еще не раз. Карета проколесила мимо статуи Фарелла, беззвучно столкнув их вялые колени.

Шнуурки: оборванный старик предлагал с панели свой товар, разевал рот: шнуурки.

— Четыре сапожных шнурка за пени.

Как это он так сошел на-нет? Имел собственную контору на Хьюм-стрит. В том же доме, где однофамилец Молли. Твиди, Уотефордский прокурор. Все в том же цилиндре. Остатки былого величия. Тоже в трауре. Какое страшное падение, бедняга! Все отпихивают его ногой, точно окурок. О'Каллахан при последнем издыхании.

И *мадам*. Двадцать двенадцатого. Встала. Миссис Флеминг зашла убирать.

Причесывается, мурлычит: voglio e vorrei. Нет: vorrei e non. Разглядывает кончики волос, не секутся ли. Mi tremaun poco il. Чудесно у нее выходит это tre: такой рыдающий тон. Дрозд. Певчий дрозд. Есть такое слово дрозд, которое это выражает.

Его взгляд скользнул по красивому лицу м-ра Пауера. Виски седеют. *Мадам*: улыбаясь. Я тоже улыбнулся. Улыбка многое означает. А может быть, только из вежливости. Славный парень. Интересно, правда ли это про женщину, которую он будто бы содержит? Жене не особенно приятно. Но мне говорили, кто это мне рассказывал, что плотской связи между ними нет. Ну, тогда надо полагать, все скоро кончится.

Да, это Крофтон встретил его как-то вечером, он нес ей фунт вырезки. Позвольте, кто же она такая? Кельнерша от Джури, или из „Мойры".

Они проехали под статуей Освободителя[1] в широком плаще. Мартин Кэннингхэм подтолкнул логтем м-ра Пауера.

— Из колена Рубенова, — сказал он.

Высокая, чернобородая фигура проковыляла, опираясь на палку, за угол зверинца Элвери, показав им спину и на ней открытую скрюченную ладонь.

— Во всей своей былой красе, — сказал м-р Пауер.

М-р Дэдалус поглядел вслед ковыляющей фигуре и сказал мягко:

— Пусть чорт тебе сломает хребет.

М-р Пауер, корчась от хохота, заслонил окно рукой, в то время как карета проезжала мимо памятника Грею.

— Мы все там были, — открыто сказал Мартин Кэннингхэм.

Его взгляд встретился со взглядом м-ра Блума. Он погладил бороду, прибавив:

— То есть почти все.

М-р Блум с неожиданной страстностью заговорил к лицам своих спутников.

— Замечательную историю рассказывают про Рубена Дж. и его сына.

— Это насчет лодочника? — спросил м-р Пауер.

— Да. Правда, замечательно?

— Что именно? — спросил м-р Дэдалус. — Я ничего не знаю.

— Там была замешана одна девица, — начал м-р Блум, — и он решил отправить его на остров Мэн, подальше от греха, и вот когда они оба...

— Кто? — спросил м-р Дэдалус. — Это тот самый отъявленный прохвост?

— Да, — сказал м-р Блум. — Они вместе шли на пристань, и он сделал попытку утопиться...

— Утопите Варраву! — крикнул м-р Дэдалус. — Ей-богу, жалко, что он этого не сделал.

М-р Пауер пустил из прикрытых ладонью ноздрей протяжный смех.

— Нет, — сказал м-р Блум. — Сын сам...

Мартин Кэннингхэм резко перебил его.

— Рубен Дж. и его сын шли по набережной к пароходу, уходившему на остров Мэн, и вдруг юный бездельник вырвался и хоп через ограду в Лиффи.

— Бога ради! — воскликнул м-р Дэдалус в ужасе. — Он умер?

— Умер? — крикнул Мартин Кэннингхэм. — Только не он. Какой-то лодочник достал багор, зацепил его за штаны, выудил и вручил отцу на набережной. Ни живого, ни мертвого. Полгорода сбежалось.

---

[1] Вождь ирландской борьбы за независимость Даниэл О'Коннелл (1775—1847).

— Да, — сказал м-р Блум. — Но самое смешное то...

— А Рубен Дж., — сказал Мартин Кэннингхэм, — дал лодочнику флорин за спасение сына.

Заглушенный вздох вырвался из-под ладони м-ра Пауера.

— Ну, да, — подтвердил Мартен Кэннингхэм. — Как герой. Серебряный флорин.

— Правда, замечательно? — пылко сказал м-р Блум.

— На шилинг и восемь пенсов больше, чем следовало, — сухо сказал м-р Дэдалус.

Заглушенный смех м-ра Пауера огласил карету.

Колонна Нельсона.

— Восемь слив за пенни! Восемь за пенни!

— Не мешало бы нам быть посерьезней, — сказал Мартин Кэннингхэм.

М-р Дэдалус вздохнул.

— Ах, право же, — сказал он, — бедняжка Пэдди не рассердился бы на нас за то, что мы смеемся. Он сам любил рассказывать смешные истории.

— Да простит мне господь, — сказал м-р Пауер, вытирая пальцами влажные глаза. — Бедный Пэдди! Не думал я неделю тому назад, когда я в последний раз видел его в добром здравии, что мне придется так вот провожать его. Он покинул нас.

— Не часто можно встретить такого достойного человека, — сказал м-р Дэдалус. — Как он неожиданно ушел от нас.

— Удар, — сказал Мартин Кэннингхэм. — Сердце.

Он скорбно постучал себя по груди.

Пылающее лицо: багрово-красное. Выпивает лишнее. Средство от красноты носа. Пить до тех пор, пока он не посинеет. Сколько он денег потратил, чтобы добиться этого цвета.

М-р Пауер грустно и опасливо поглядел на проплывающие мимо дома.

— Он умер внезапно, бедняга, — сказал он.

— Самая лучшая смерть, — сказал м-р Блум.

Они поглядели на него широко раскрытыми глазами.

— Никаких страданий, — сказал он. — Секунда, и все кончено. Все равно, что умереть во сне.

Никто ничего не сказал.

Мертвая сторона улицы, эта вот. Весь день жалкая торговлишка, земельные маклера, гостиница для трезвенников, железнодорожный справочник Фоконера, школа гражданской службы, Джилл, католический клуб, убежище для слепых. Почему? Какая-нибудь причина есть. Солнце или ветер. Ночью то же самое. Мастеровые и горняшки. Имени покойного патера Мэтью. Закладка памятника Парнеллу. Удар. Сердце.

Белые лошади с белыми плюмажами на лбу галопом вынеслись из-за угла Ротонды. Детский гроб промелькнул. Торопятся хоронить. Траурная карета. Неженатые. Черное для женатых. Пестрое для холостяков. Темно-коричневое для старых дев.

— Грустно, — сказал Мартен Кэннингхэм. — Ребенок.

Лицо карлика, розовое и сморщенное, как у малютки Руди. Тело карлика, мягкое, как оконная замазка, в сосновом ящике, внутри белая обивка. Погребение любезно оплачивается обществом. Пенни в неделю за кусок лужайки. Наш. Маленький. Плутишка. Бэби. Ничего не означал. Ошибка природы. Если здоров, значит от матери. Если нет, от отца. В следующий раз больше повезет.

— Бедняжка, — сказал м-р Дэдалус. — Он уже отделался.

Карета медленно взбиралась на пригорок Рутлэнд-сквера. Кости стучат. Камни гремят. Жалкий бедняк. Больше ничей.

— В расцвете жизни, — сказал Мартин Кэннингхэм.

— Но самое страшное, — сказал м-р Пауер, — это когда человек кончает жизнь самоубийством.

Мартин Кэннингхэм внезапно вынул часы, кашлянул и положил их обратно в карман.

— Большего позора для семьи не придумаешь, — прибавил м-р Пауер.

— Временное умопомешательство, ничего больше, — решительно сказал Мартин Кэннингхэм. — К таким вещам надо быть снисходительным.

— Говорят, что человек, совершающий самоубийство, — трус, — сказал м-р Дэдалус.

— Не нам судить, — сказал Мартин Кэннингхэм.

М-р Блум, хотевший что-то сказать, снова сжал губы. Большие глаза Мартина Кэннингхэма. Смотрит в сторону. Симпатичный, гуманный человек. Шекспировское лицо. Всегда найдет доброе слово. Они не знают пощады ни к этим вот, ни к детоубийцам. Отказывают в христианском погребении. Когда-то вгоняли деревянный кол в могилу, в сердце. Точно оно и без того не разбито. А бывает, раскаиваются, слишком поздно. Найден на дне реки, в камышах. Он поглядел на меня. И эта его ужасная пьяница-жена. Сколько раз обставлял ей квартиру, а она чуть ли не каждую субботу закладывала от его имени обстановку. Жизнь, как у грешника в аду. Камень и тот растрогается. В понедельник утром начинай сначала. Шею под ярмо. Господи, хороша она, должно быть, была в тот вечер. Дэдалус мне рассказывал, он был при этом. Пьяная по квартире, машет зонтиком Мартина:

Я зовусь жемчужиной Азии,
Азии,
Гейша.

Он отвернулся. Он знает. Кости стучат.

Тот день, когда было дознание. Склянка с красным ярлычком на столе. Номер в гостинице с охотничьими сценами. Душно было. Солнечный свет сквозь щели жалюзи. Уши следователя, большие и волосатые. Коридорный дает показания. Сначала решил, что он спит. Потом заметил вроде как желтые полосы на лице. Сполз в ноги кровати. Вердикт: слишком сильная доза. Смерть по неосмотрительности. Письмо. Сыну моему Леопольду.

Нет больше мук. Не проснется больше. Больше ничей.

Карета быстро загрохотала по Блессингтон-стрит. Камни гремят.

— Здорово быстро едем, верно? — сказал Мартин Кэннингхэм.

— Даст бог, он не вывалит нас на мостовую, — сказал м-р Пауер.

— Надеюсь, — сказал Мартин Кэннингхэм. — Завтра в Германии большие скачки. Гордон-Беннет.

— Да, чорт возьми, — сказал м-р Дэдалус. — Определенно стоило бы посмотреть.

Когда они свернули в Беркли-стрит, около Бассейна шарманка пустила им вслед бодрую, дробную уличную песенку. Не видали ли вы Келли? Ка е эл эл и. Похоронный марш из „Савла“. Какая же он бестия. Сижу на том же месте я. Пируэт! Mater misericordiae. Экклз-стрит. Там в конце мой дом. Большая площадь. Убежище для неизлечимых там. Очень утешительно. Приют божьей матери для умирающих. Морг тут же под рукой. Где умерла старая

миссис Риордан. Они ужасно выглядят, женщины. Ее чашка для еды и как она царапала себе рот ложкой. А потом ширма у ее кровати, когда пришло помирать. Милый молодой студент, делавший мне перевязку, когда меня укусила пчела. Перешел теперь в родовспомогательное заведение, мне говорили. Из одной крайности в другую.

Карета прогалопировала за угол: остановилась.

— Что там опять стряслось?

Разделенное на-двое стадо клейменного скота прошло мимо окон, мыча, шлепая копытами, медленно хлеща хвостами по загаженным, костистым крупам. По бокам и в середине стада бежали убойные овцы, выблеивая свой страх.

— Эмигранты, — сказал м-р Пауер.

— Хууу! — кричал погонщик, щелкая бичом по их бокам. — Хууу! Давай!

Конечно, четверг. Завтра день убоя. Молодняк. Куфф продает их фунтов по двадцать семь за голову. В Ливерпуль, вероятно. Ростбиф для старой Англии. Они скупают все самые сочные. А потом и шкура и жир пропадают: все это сырье, кожа, волос, рога. В год получается здорово много. Торговля мертвым мясом. Побочные продукты боен для кожевенных заводов, мыла, маргарина. Интересно, это жульничество с продажей тухлого мяса франко-поезд в Клонзилле еще продолжается?

Карета проехала сквозь стадо.

— Не понимаю, почему компания не проложит трамвайную линию от ворот парка до набережных, — сказал м-р Блум. — Тогда можно было бы грузить весь скот из скотных вагонов прямо на пароход.

— Чем устраивать пробку на улице, — сказал Мартин Кэннингхэм. — Совершенно верно. Так и следовало бы.

— Да, — сказал м-р Блум, — и еще об одном я часто думаю, — что им стоит завести городские похоронные трамваи, знаете, как в Милане? Проложить линию от кладбищенских ворот, оборудовать специальные вагоны, дроги, колесницы и прочее. Понимаете, что я хочу сказать?

— О, это было бы чертовски здорово! — сказал м-р Дэдалус. — Пульмановский вагон и вагон-ресторан.

— Хорошенькая перспектива для Корни, — прибавил м-р Пауер.

— Почему? — спросил м-р Блум, поворачиваясь к м-ру Дэдалусу. — Ведь это гораздо приличней, чем трястись по двое в ряд.

— Что ж, доля правды в этом есть, — снизошел м-р Дэдалус.

— И, — сказал Мартин Кэннингхэм, — мы бы избавились от сцен вроде той, у Дэнфи, когда дроги опрокинулись и гроб вывалился на мостовую.

— Это было ужасно, — сказало возмущенное лицо м-р Пауера, — и труп покатился по мостовой. Ужасно.

— Первым на повороте Дэнфи, — сказал м-р Дэдалус, кивая. — Кубок Гордон-Беннета.

— Восхвалим господа, — набожно сказал Мартин Кэннингхэм.

Бац! Опрокинулся. Гроб бахнулся на мостовую. Раскололся. Пэдди Дигнэм выскочил и покатился как колода в пыли, в коричневом костюме, слишком для него широком. Красное лицо — теперь серое. Рот разинут. Спрашивает, что случилось. Совершенно правильно делают, что подвязывают. Ужасно выглядит, когда раскрыт. Кроме того, внутренности быстро разлагаются. Гораздо лучше затыкать все отверстия. Да, тоже. Воском. Сфинктор ослабевает. Все запечатать.

— Дэнфи, — сообщил м-р Пауер, когда карета свернула направо.

Угол Дэнфи. Траурные колесницы съехались, заливают горе вином. Остановка у края дороги. Отличное место для трактира. Надеюсь, мы остановимся тут на обратном пути, выпьем за его здоровье. Передайте-ка мне утешительное средство. Эликсир жизни.

А вот, предположим, это сейчас бы случилось. Пойдет у него кровь, если он вываливаясь напорется, скажем, на гвоздь? И да и нет, я думаю. Зависит от того, каким местом. Кровообращение останавливается. И все-таки из какой-нибудь артерии, может, потечет немножко. Следовало бы хоронить их в красном: темно-красном.

Молча они ехали по Фибсборо-род. Пустые дроги протрюхали мимо, возвращаясь с кладбища: вид довольный.

Кроссгэнс-бридж: Королевский канал.

Вода с ревом рвалась сквозь шлюз. Человек стоял среди торфяных куч на своей барже, проходившей шлюзом. На боковой дорожке у шлюзных ворот кое-как привязанная лошадь. На борту „Бугабу".

Их глаза следили за ним. Медленным травянистым водным путем плыл он на своем плоту через всю Ирландию к побережью, его волокли на бечеве мимо зарослей камыша, по илу, засосанным бутылкам, собачьей падали. Эзлон, Мэллингар, Мойвэлли. Я бы мог проехаться к Милли по каналу. Или на велосипеде. Взять напрокат какую-нибудь старую двухколесную трясучку. На-днях Ренн купил себе на аукционе, только дамский. Развитие водных путей. Джэймс Мак-Кенни вбил себе в голову, непременно хочет перевезти меня на пароме. Более дешевый вид транспорта. Короткими этапами. Лагерь на открытом воздухе. И дроги тоже. В небеса по водам. Может быть, и поеду, не предупреждая письмом. Сюрприз. Лейкслип, Клонзилла. Из шлюза в шлюз до Дублина. С торфом с Мидлэндских болот. Привет. Он снял коричневую соломенную шляпу, приветствуя Пэдди Дингэма.

Они поехали дальше, мимо дома Брайан Бороимхи. Теперь близко.

— Интересно, как живется нашему другу Фогэрти? — сказал м-р Пауер.

— Спросите Тома Кернана, — сказал м-р Дэдалус.

— То есть как это? — сказал Мартин Кэннингхэм. — Вероятно, оплакивает его.

— С глаз долой, — сказал м-р Дэдалус, — но не из сердца вон.

Карета свернула налево, на Финглас-род.

Направо мастерская надгробных памятников. Последний круг. Столпившись на клочке земли, возникали молчаливые фигуры, белые, горестные, простирая спокойные руки, скорбно преклоняя колени, указуя перстом. Бюсты, высеченные из камня. В белом безмолвии: взывая. Высшего качества. Тос. Г. Деннэни, скульптор и мастер надгробных памятников.

Мимо.

На тумбе перед домом могильщика Джимми Гири сидел старый бродяга, что-то бормоча, вытряхивая грязь и камешки из огромного, темнокоричневого, зияющего башмака. Окончен жизненный путь.

Потом проплыли сумрачные сады, один за другим: сумрачные дома.

М-р Пауер указал пальцем.

— Вот там убили Чайльдза, — сказал он. — Последний дом.

— Совершенно верно, — сказал м-р Дэдалус. — Ужасная история. Сеймур Буш вытянул его. Убил его брата. Так по крайней мере говорят.

— Обвинение не могло выставить свидетелей, — сказал м-р Пауер.

— Только косвенные улики, — сказал Мартин Кэннингхэм. — Таков

основной принцип законодательства. Лучше отпустить девяносто девять виновных, чем осудить одного невинного.

Они посмотрели. Дом, где было совершено убийство. Темный, проплыл мимо. Ставни заколочены, никто не живет, запущенный сад. Проклятое угодье. Невинно осужден. Убийца. Образ убийцы в зрачке убитого. Любят читать такие штуки. В саду найдена мужская голова. Одежда ее состояла из. Как она встретила смерть. Насилие. Орудием убийства служило. Убийца все еще на свободе. Путеводная нить. Сапожный шнурок. Тело будет вырыто. Убийство будет раскрыто.

Судороги сводят в этой карете. Пожалуй, она будет недовольна, если я приеду так вот, не предупреждая. С женщинами надо осторожно. Попробуй, накрой их, когда у них штаны спущены. В жизни не простят. Пятнадцать.

Высокая ограда Проспекта зарябила мимо их взгляда. Темные тополя, редкие белые фигуры. Фигуры все чаще, белые силуэты, томящиеся среди деревьев, белые фигуры и бюсты молча текут мимо, бессмысленно помахивая руками.

Колесо скрежетнуло о край тротуара: стоп. Мартин Кэннингхэм высунул руку и, повернув ручку, толкнул дверцу коленом. Он вышел. М-р Пауер и м-р Дэдалус последовали за ним.

Теперь надо положить мыло в другой карман. Рука м-ра Блума быстро расстегнула задний карман и переложила завернутое в бумагу мыло в передний карман, туда, где носовой платок. Он вылез из кареты и спрятал газету, которую все еще держала другая его рука.

Жалкие похороны: колесница и три кареты. Не все ли равно? Служители, поддерживающие концы покрова, заупокойная месса, золотые поводья, траурный салют. Помпа смерти. Позади последней кареты стоял разносчик у своей тележки с пирожными и фруктами. Это песочные пирожные, слиплись: пирожные для мертвецов. Собачьи галеты. Кто их ест? Провожающие, покидая кладбище.

Он пошел за своими спутниками. Пришли м-р Кернан и Нед Ламберт, вслед за ними Хайнз. Корни Келлехер стоял у раскрытого катафалка и вынимал два венка. Один он отдал мальчику. А куда делись дроги с ребенком?

С Финглас-род медленным, плетущимся шагом прошли лошади, волоча сквозь похоронную тишину скрипучую подводу, на которой лежала гранитная глыба. Извозчик, шедший впереди, снял шапку.

Теперь гроб. Приехал раньше нас, хоть и мертвый. Лошадь оглядывается на него, перья скособочились от ветра. Тусклый взгляд: хомут жмет, давит какую-нибудь артерию или что-нибудь в этом роде. А знают они, что они сюда каждый день возят? Похорон двадцать-тридцать в день, должно быть. И потом еше Маунт-Джером для протестантов. Похороны во всем мире повсюду каждую минуту. Закапывают в спешном порядке партиями с телег. Тысячи в час. Слишком их много на свете.

Из ворот выходили в трауре: женщина и девочка. Впалощекая гарпия, жесткая баба, не дай бог с такой иметь дело. Шляпа набекрень. Лицо у девочки все в подтеках от грязи и слез, висит у той на руке, следит за ней, ждет сигнала, когда зареветь. Рыбье лицо, бескровное и бледное.

Носильщики подняли гроб на плечи и внесли его в ворота. Какой огромный мертвый вес. Я чувствовал себя еще тяжелей, когда выходил из ванны. Сначала покойник: потом друзья покойника. Корни Келлехер и мальчик несли венки. А кто это рядом с ним? Ах, да, зять. Потом все прочие.

Мартин Кэннингхэм шепнул:

— Я чуть не умер от страха, когда вы в присутствии Блума заговорили о самоубийстве.

— Как так? — шепнул м-р Пауер. — Почему?

— Его отец отравился, — шепнул Мартин Кэннингхэм. — Держал в Эннисе „Отель королевы“. Вы же слышали, он сказал, что едет в Клэр. Годовщина.

— Ах, ты боже мой! — шепнул м-р Пауер. — Первый раз слышу. Отравился!

Он оглянулся туда, где лицо с темными, задумчивыми глазами было обращено к мавзолею кардинала. Разговаривает.

— Он был застрахован? — спросил м-р Блум.

— Кажется, да, — ответил м-р Кернан, — но полис заложен за крупную сумму. Мартин пытается устроить мальчишку в Артэн.

— Сколько детей после него осталось?

— Пятеро. Нед Ламберт говорит, что попробует устроить девочку к Тодду.

— Грустная история, — тихо сказал м-р Блум. — Пятеро маленьких детей.

— Для жены тяжелый удар, — прибавил м-р Кернан.

— Еще бы, — согласился м-р Блум.

Теперь можете радоваться.

Он поглядел на свои ботинки, наваксенные и начищенные. Она пережила его, потеряла мужа. Для нее он мертвее, чем для меня. Всякий должен кого-нибудь пережить. Говорят умные люди. Женщин на свете больше, чем мужчин. От души ей сочувствую. Ваша ужасная потеря. Надеюсь, вы скоро последуете за ним. Это только вдовы индусов. Пожалуй, выйдет за другого. За него. Нет. Впрочем, кто знает. Вдовство не в моде с тех пор, как умерла старая королева. Везли на лафете. Виктория и Альберт. Панихида в Фрогморе. Но в конце концов оно-таки сунула себе в шляпу фиалки. Суетна до глубины души. Все ради тени. Принц-супруг даже не король. Самое главное был сын. Что-то новое, на что можно было надеяться, непохожее на прошлое, по которому она тосковала. Она никогда не вернется. Кто-нибудь должен уйти первым: один, в землю; и больше никогда не лежать в ее теплой постели.

— Как живете, Саймон? — тихо сказал Нед Ламберт, пожимая руку. — Целую вечность вас не видел.

— Отлично. Что слышно в богоспасаемом городе Корке?

— Я был на бегах в Корк-парке в понедельник на светлой неделе, — сказал Нед Ламберт. — Все те же гроши. Жил у Дика Тайви.

— А как почтенный Дик?

— Между ним и небом нет ничего, — ответил Нед Ламберт.

— Вот так раз! — сказал м-р Дэдалус со сдержанным удивлением. — Дик облысел!

— Мартин хочет сделать сбор в пользу детей, — сказал Нед Ламберт и показал пальцем вперед. — Два-три шиллинга с носа. Чтоб не дать им помереть, покуда не выяснится со страховкой.

— Да, да, — нерешительно сказал м-р Дэдалус. — Вон тот впереди, это старший?

— Да, — сказал Нед Ламберт, — рядом с братом жены. А позади него Джон Генри Ментон. Он подписался на фунт.

— Я так и думал,— сказал м-р Дедалус.— Я не раз говорил бедняге Пэдди, чтоб он за него держался. Джон Генри лучше многих.

— Как это так вышло?— спросил Нед Ламберт.— Пил, должно быть?

— Многие хорошие люди пьют,— сказал м-р Дэдалус, вздохнув.

Они остановились у двери часовни. М-р Блум стоял за мальчиком с венком, смотрел на его гладкие, прилизанные волосы и тонкую морщинистую шею над новеньким, чистеньким воротничком. Бедный мальчик. Он был при том, как отец? Оба без сознанья. В последнюю секунду приходят в себя и узнают в последний раз. Сколько еще дел было! Я должен О'Грэди три шиллинга. Понял ли бы он? Носильщики внесли гроб в часовню. В каком конце голова?

Через секунду он вошел вслед за другими, щурясь в полумраке. Гроб стоял на помосте перед алтарем, по углам — четыре высокие желтые свечи. Всегда перед нами. Корни Келлехер положил на два передних угла по венку, сделал мальчику знак стать на колени. Провожающие стали на колени, каждый у своего пюпитра. М-р Блум стоял позади у купели и, когда все опустились на колени, осторожно выронил из кармана неразвернутую газету и опустился на нее правым коленом. Он осторожно повесил свою черную шляпу на левое колено и, держа ее за поля, набожно склонил голову.

Причетник с медным ведром, в котором что-то было, вышел из дверей. Священник в белом вышел вслед за ним, оправляя одной рукой эпитрахиль, прижимая другой маленькую книжку к своему жабьему брюху. Кто будет читать эту книжку? Я, сказал поп.

Он остановился у гроба, и священник, плавно квакая, начал читать свою книжку.

Патер Коффи. Я знаю, что его фамилия похожа на гроб.[1] Domineamine. А морда у него толстая. Командует всем. Мускульный христианин. Горе тому, кто на него косо взглянет: священник. Ты — Петр. Он лопнет сбоку, как овца в клеверном поле, говорит про него Дэдалус. Брюхо у него как у отравленной дворняги. До чего смешные выражения этот человек придумывает! Ххин: лопнет сбоку.

Non intris in judicium cum servo tuo, Domine.[2]

Чувствуют себя более важными, когда над ними молятся по-латыни. Заупокойная месса. Траурные вуали. Почтовая бумага с черной каймой. Имя в церковной книге. Холодно тут. Должно быть, хорошо питается, сидит тут все утро в темноте, потопывает ножками, ждет следующего, пожалуйста. И глаза как у жабы. С чего у него так брюхо вспучило? У Молли пучит живот от капусты. Воздух здесь такой, может быть? Точно у него брюхо полно газов. Тут, должно быть, чертовски много газов. Мясники например: становятся как сырые бифштексы. Кто это мне рассказывал? Мервин Браун. Под сводом Сент-Вербэрга чудесный старинный орган сто пятьдесят иногда приходится делать дырки в гробу, чтобы газ вышел, и поджигать его. Так и дует оттуда: голубой. Вдохнешь его раз, и каюк.

Коленная чашечка у меня болит. Ой! Вот так лучше.

Священник достал из ведра, поданного причетником, палку с набалдашником и помахал ею над гробом. Потом он перешел на другую сторону и опять помахал. Потом он вернулся и положил ее обратно в ведро.

[1] Гроб по-английски „коффин".

[2] Да не внидешь в суд рабом твоим, господи.

Все точно написано: он обязан так делать.

Et ne nos inducas in tentationem.[1]

Причетник отвечал писклявым дискантом. Я часто думал, надо брать в услужение мальчиков. Так лет до шестнадцати. Потом, разумеется...

Кажется, это была святая вода. Сыпал из нее сон. Должно быть, ему здорово надоело махать этой штукой над любым трупом, какой ему ни притащат. Не мешало бы ему посмотреть, над кем он машет. Каждый день свежая порция: мужчины средних лет, старухи, дети, умершие от родов женщины, бородатые мужчины, лысые дельцы, чахоточные девушки с крошечными, воробьиными грудями. Круглый год он говорил одни и те же слова молитвы над ними и кропил их водой: сном. Теперь Дигнэма.

— In paradisum.[2]

Сказал, что он переселился в рай или находится в раю. Говорит это над каждым. Скучное занятие. Но должен же он что-то говорить. Священник закрыл свою книжку и ушел в сопровождении причетника. Корни Келлехер отворил боковые двери, вошли могильщики, опять подняли гроб, вынесли его и поставили на тачку. Корни Келлехер дал один венок мальчику, а другой зятю. Все вышли вслед за ними через боковые двери на свежий, серый воздух. М-р Блум вышел последним, засовывая газету в карман. Он строго смотрел в землю, покуда тачка не свернула налево. Металлические колеса мололи гравий с резким скрежещущим криком, и стадо грубых сапог топало за тачкой по аллее могил.

Та-ри, та-ра, та-ри, та-ра, ти-ру. Батюшки, здесь нельзя петь.

— Могила О'Коннелла, — тихо сказал м-р Дэдалус.

Кроткие глаза Пауера глянули не вершину величавого конуса.

— Он покоится, — сказал он, — среди своего народа, старый Дан О. Но сердце его погребено в Риме. Как много погребено здесь разбитых сердец, Саймон!

— Ее могила вон там, Джэк, — сказал м-р Дэдалус. — Вскоре я лягу подле нее. Да призовет он меня к себе, когда ему будет угодно.

Он съежился и начал тихо плакать про себя, слегка спотыкаясь на ходу. Пауер взял его под руку.

— Ей там лучше, — сказал он мягко.

— Я надеюсь, — сказал м-р Дэдалус, слабо всхлипывая. — Надеюсь, что она на небесах, если они существуют.

Корни Келлехер вышел из рядов и пропустил процессию вперед.

— Какая грустная история, — вежливо начал м-р Кернан. М-р Блум закрыл глаза и дважды грустно наклонил голову.

— Все уже надевают шляпы, — сказал м-р Кернан. — Я думаю, мы можем сделать то же самое. Мы последние. Это кладбище прямо ловушка.

Они надели шляпы.

— Его преподобие читал мессу слишком быстро, как по-вашему? — сказал м-р Кернан неодобрительно.

М-р Блум строго кивнул, поглядел в быстрые, налитые кровью глаза. Таинственные глаза, проникающие в тайну глаза. Кажется, масон: не наверно. Опять рядом с ним. Мы последние. В одной лодке. Надеюсь, он еще что-нибудь скажет.

---

[1] И не введи нас во искушение.
[2] В рай.

М-р Кернан прибавил:

— Богослужение в протестантской церкви на Маунт-Джероме гораздо проще, производит больше впечатления, должен признаться.

Блум осторожно согласился. Язык, конечно, совсем другое дело.

М-р Кернан сказал торжественно:

— Я есмь воскресение и жизнь. Это хватает за сердце.

— Определенно, — сказал м-р Блум.

Может быть, и сердце, но какое до всего этого дело тому, в ящике шесть на два фута, пятками на маргаритках? Не за что хватать. Средоточие всех чувств. Разбитое сердце. В сущности, всего-навсего насос, перекачивающий ежедневно тысячи галлонов крови. В один прекрасный день он закупоривается, и — конец всему. Сколько их тут лежит кругом: легких, сердец, печеней. Старые, ржавые насосы: ну их к чорту! Воскресение и жизнь. Раз ты мертв, ты мертв. Эта идея о страшном суде. Всех вытащат из гробов. Лазарь, иди вон! И он пришел шестым и проиграл скачки. Встань. Страшный суд. Все начнут тогда искать свои печени, легкие и прочее барахло. Попробуй, найди все в одно утро. Пыли на вес пенни в черепе. В весе пенни двенадцать граммов. Монетный вес.

Корни Каллехер поровнялся с ними.

— Все идет как по маслу, — сказал он. — Что?

Он поглядел на них выпученными глазами. Плечи как у полицейского. Ну тебя с твоим трам-тарарамом.

— Как и следовало ожидать, — сказал м-р Кернан.

— Что? А? — сказал Корни Келлехер.

М-р Кернан успокоил его.

— Кто это там сзади, с Томом Кернаном? — спросил Джон Генри Ментон. — Мне его лицо знакомо.

Нед Ламберт оглянулся.

— Блум, — сказал он. — Мадам Мэрион Твиди, та, что, пела, то есть, поет. Она его жена.

— Совершенно верно, — сказал Джон Генри Ментон. — Я давно ее не видел. Она была красивой женщиной. Я танцовал с ней, постойте-ка, шестнадцать, семнадцать невозвратных лет тому назад, у Мата Диллона, в Раундтауне. Хороший был кусочек.

Он оглянулся.

— Кто он такой? — спросил он. — Чем он занимается? Кажется, он по писчебумажной части? Помнится, мы с ним как-то повздорили за игрой в шары.

Нед Ламберт улыбнулся.

— Верно, — сказал он, — служил у Висдом Хели. Вояжером по промокательной бумаге.

— Господи, — сказал Джон Генри Ментон, — как она могла выйти за такого болвана? Она тогда была бедовая баба.

— И сейчас такая, — сказал Нед Ламберт. — А он сборщик объявлений.

Большие глаза Джона Генри Ментона устремились вперед.

Точка свернула в боковую аллею. Тучный господин, скрытый кустарником, благоговейно снял шляпу. Могильщики притронулись к козырькам.

— Джон О'Коннелл, — сказал м-р Пауер, довольный. — Он никогда не забывает друзей.

М-р О'Коннелл молча пожал всем руки. М-р Дэдалус сказал:

— Вот я и опять посетил вас.

— Мой дорогой Саймон, — сказал смотритель кладбища тихим голосом, — я вовсе не хочу, чтобы вы были моим клиентом.

Поздоровавшись с Недом Ламбертом и Джоном Генри Ментоном, он пошел рядом с Мартином Кэнингхэмом, поигрывая за спиной двумя ключами.

— Слышали историю, — спросил он их, — про Молкэхи из Кума?

— Я не слышал, — сказал Мартин Кэннингхэм.

Они как по команде склонили свои цилиндры, а Хайнз подставил ухо. Смотритель зацепил большими пальцами золотую часовую цепочку и конфиденциально нагнулся к их пустым улыбкам.

— История начинается с того, — сказал он, — что однажды туманным вечером двое пьяных явились сюда на могилу какого-то их друга. Они заявили, что его зовут Молкэхи из Кума, и им указали, где он лежит. Долго блуждали они в тумане, покуда наконец не нашли могилу. Один из них читает по буквам имя: Теренс Молкэхи. Другой поднимает голову и видит статую спасителя, поставленную вдовой покойного.

Смотритель посмотрел на памятник, мимо которого они шли. Потом продолжал:

— И говорит, поглядев на священное изображение: Ни капли сходства! Какой же это, говорит, Молкэхи, что ты мне рассказываешь?

Вознагражденный улыбками, он отстал и заговорил с Корни Келлехером; он взял у него бумаги, перелистал их и просмотрел на-ходу.

— Все это нарочно, — объяснил Мартин Кэннингхэм. Хайнзу.

— Я знаю, — сказал Хайнз, — знаю.

— Чтоб подбодрить, — сказал Мартин Кэннингхэм. — По доброте душевной, не что иное.

М-р Блум подивился на толстое брюхо смотрителя. Все стараются быть с ним в хороших отношениях. Приличный человек этот Джон О'Коннелл, настоящий крепкий парень: как в объявлении о ключах Киз: не бойтесь, никто не пройдет, все виды пропусков отменены. Habeas corpus. [1] Надо будет после похорон заняться этим объявлением Я, кажется, написал „Болсбридж" на том конверте, которым я накрыл письмо к Марте, когда она вошла и помешала мне. Надеюсь, оно не попало в ящик для неотправленных писем. Не мешало бы побриться. Седая, колючая борода. Это первый признак, волосы седеют и настроение портится. Серебряные нити в серых волосах. Смешно, это, быть его женой. Откуда у него только взялась смелость сделать девице предложение? Переезжай ко мне, будем жить на кладбище. Соблазняет. Сначала ее, должно быть, захватило. Ухаживать за смертью. Ночами тени бродят, а кругом лежат мертвые. Тени могил, когда зевают кладбища, и Даниэль О'Коннелл несомненно потомок кто это утверждал, что он был удивительно плодовитый человек и притом великий католик, точно гигант во мраке? Блуждающий огонек. Газ из могил. Должен отвлекать ее внимание, чтобы она вообще забеременела. Женщины особенно возбудимы. Рассказывать ей в постели историю о привидениях, чтобы она заснула. Ты когда-нибудь видела привидение? А я да. Была непроглядная ночь. Часы только-что пробили двенадцать. Здорово целуются, если их как следует взвинтить. Шлюхи на турецких кладбищах. Если поймать молодой, можно всему научить. Тут можно подцепить молодую вдовушку. Мужчины это любят. Любовь среди могил. Ромео. Приправа к удовольствию. В царстве

[1] Неприкосновенность личности.

смерти мы живы. Оба конца сходятся. Муки Тантала для бедных мертвецов. Запах поджариваемого бифштекса для голодных, грызущих корку. Появляется желанье. Молли хотела у окна. Как-никак, у него восемь детей.

Многих на его глазах опускали в могилу, вот тут они лежат вокруг него, поле за полем. Священные поля. Было бы больше места, если бы хоронили стоя. Сидя или на коленях не годится. Стоя. Если случится землетрясение, покажется голова и простертая ввысь рука. Всю землю надо разбить на соты: прямоугольные клетки. А в какой он чистоте его содержит: подстриженная трава и бордюрчики. Свой сад майор Гэмбл называет Маунт-Джером. Так оно и есть. Надо бы посадить мак. Китайские кладбища с исполинскими маками дают самый лучший опиум, мне Мастянский говорил. Ботанический сад как раз напротив. Кровь, просачиваясь в землю, дает новую жизнь. Тот же принцип, что у евреев, убивавших, говорят, христианских мальчиков. У каждого своя цена. Хорошо сохранившийся, жирный джентльменский труп недавно скончавшегося Вильяма Вилькинсона, бухгалтера-эксперта, три фунта тринадцать и шесть. С благодарностью.

Во всяком случае почва чрезвычайно жиреет от трупного удобрения; кости, мясо, ногти, костехранилища. Ужасно. Зеленеют и розовеют, разлагаются. Моментально гниют в тощей сырой земле. Худые старики покрепче. Становятся солеными, что ли вроде сыра. Потом чернеют, сукровица из них сочится. Потом высыхают. Мертвые головы. Клетки, или как их там, конечно, продолжают жить. Изменяются. Фактически вечная жизнь. Ничем не питаются питаются собой.

Только червей, должно быть, чертовски много. Земля наверно прямо кишит ими. Прямо голова крюжится. Те чюдные маленькие девочки на пляже. А он довольно весело взирает на все это. Испытывает чувство превосходства, когда видит, как других закапывают раньше его. Интересно, как он относится к жизни, острит: согревает себе сердечную полость. С бюллетенем. Спэрджон вознесся в небо сегодня в 4 часа пополуночи. 11 часов пополудни (конец занятий). Еще не прибыли. Петр. Сами мертвые— мужчины наверняка — хотели бы услышать какую-нибудь остроту, а женщины узнать, какие нынче моды. Сочную грушу или дамский пунш, горячий, крепкий и сладкий. От сырости. Надо же когда-нибудь посмеяться, тогда уж лучше так. Могильщики в „Гамлете". Показывает глубочайшее знание человеческого сердца. По поводу мертвых нельзя шутить по меньшей мере два года. De mortuis nil nisi prius.[1] Сначала пусть кончится траур. Трудно представить себе свои похороны. Что-то вроде шутки. Прочтите объявление о вашей смерти — говорят, будете дольше жить. Дает новую зарядку. Новый контракт на жизнь.

— Сколько у вас на завтра? — спросил смотритель.

— Двое, — сказал Корни Келлехер. — В половине десятого и в одиннадцать.

Провожающие разбились на группы и, осторожно обходя могилы, выстроились по обе стороны ямы. Могильщики принесли гроб и поставили его передним концом на край ямы, обвязав веревками.

Хоронят. Мы Цезаря пришли похоронить. Его мартовские или июньские иды. Он не знает, кто тут есть, а ему и плевать.

Что это там за тощий тип в макинтоше? Кто это такой, интересно знать? А в конце концов не все ли равно. Вечно встречаешь кого-нибудь, о ком меньше всего думаешь. Человек может всю жизнь прожить в одиночестве.

[1] Ничего, кроме того, что было.

Ну, да, может. Только надо иметь кого-нибудь, чтобы зарыл тебя, когда ты умрешь, впрочем, могилу можно самому вырыть. Что мы и делаем. Только люди хоронят. Нет, муравьи тоже. Первое о чем думаешь. Похоронить мертвеца. Вот Робинзон Крузо был верен природе. А Пятница и похоронил его. Пятница всегда хоронит Четверг, если вдуматься.

Ах, бедный Робинзон Крузо,
Как это тебя угораздило?

Бедный Дигнэм. В последний раз лежит на земле в своем ящике. Подумать только, какое количество ящиков — зря расходуют лес. Насквозь изъеден. Надо бы изобрести изящные носилки с этаким спуском, так и спускать их. Так-то так, только будут претензии, чтоб не хоронили с чужих носилок. Этакие чудаки. Положите меня в родную землю. Пригоршня пыли из Святой земли. Только мать и мертворожденного ребенка можно хоронить в одном гробу. Понимаю, что это значит. Понимаю. Чтобы оберегать его как можно дольше даже в земле. Дом ирландца — его гроб. Бальзамирование в катакомбах, мумии, тот же принцип.

М-р Блум стоял далеко позади, с шляпой в руке, считая обнаженные головы. Двенадцать. Со мной тринацать. Нет. Тот, что в макинтоше, тринадцатый. Роковое число. Откуда он, чорт побери, взялся? В часовне его не было, я готов покляться. Дурацкое это суеверие насчет тринадцати.

Из хорошего, мягкого материала у Неда Ламберта костюм. Красноватый оттенок. У меня был в этом роде, когда мы жили на Ломбард-стрит. Он был когда-то франтом. По три раза в день менял костюм. Надо дать Мессиасу перелицовать мой серый костюм. Фу ты! Он же крашеный. Его жена — я забыл, он не женат — или хозяйка могла бы для него вытаскивать нитки.

Гроб изчезал из виду, люди, стоящие на мостках над могилой, широко расставив ноги, спускали его. Они потянули, готово: и все без шапок. Двадцать.

Пауза.

Если бы мы все вдруг стали кем-нибудь другим.

Вдали закричал осел. Дождь. Совсем не так уж глуп. Говорят, никто никогда не видел мертвого осла. Стыдятся смерти. Прячутся. Бедный папа тоже ушел.

Мягкий, сладкий ветерок обвевал обнаженные головы шопотом. Шопот. Мальчик у изголовья могилы двумя руками держал венок, спокойно глядя в черную открытую яму. М-р Блум встал позади дородного доброжелательного смотрителя. Сюртук хорошо сшит. Всех разглядывает — должно быть, примеривает, кто следующий. Да, покой надолго. Больше ничего не чувствовать. Только ту секунду чувствуешь. Чертовски, должно быть, неприятно. Сначала невозможно поверить. Ошибка, должно быть: кто-нибудь другой. Обратитесь в дом напротив. Подождите, я еще не хочу. Я еще не... Потом затемненная комната смерти. Света требуют. Вокруг шепчутся. Не хотите ли священника. Потом беготня, суетня. Делириум, все, что ты всю жизнь скрывал. Борьба со смертью. Сон у него какой-то неестественный. Нажмите на нижнее веко. Следят, не заострился ли у него нос, не отвалилась ли у него челюсть, не пожелтели ли у него пятки. Убирают из-под головы подушки, пусть кончается на полу, все равно ничего не поделаешь. Дьявол на картине „Смерть грешника“, показывающий ему женщину. Помирает, до того хочется обнять ее в рубашке. Последний акт „Лючии“. *Ужель тебя*

я не увижу? Бац! умирает. Наконец-то. Еще немножко поговорят о тебе: забудут. Не забудьте помолиться о нем. Помяните его в ваших молитвах. Даже Парнелла. Потом очередь за ними: один за другим валятся в яму.

Ныне мы молимся за упокой его души. Надо надеяться, вам не плохо и вы не в аду. Славная перемена воздуха. Со сковородки жизни в огонь чистилища.

А сам-то он думает о яме, которая его ожидает? Говорят, если вздрогнешь на солнце, значит вспомнил. Кто-то прошел по ней. Первый звонок. Скоро и тебе. Моя в том конце, напротив Фингласа, купил себе там место. Мама, бедная мама, и маленький Руди.

Могильщики взялись за лопаты и стали наваливать тяжелые комья глины на гроб. М-р Блум отвернулся. Что, если он еще жив. Фу! Чорт возьми, до чего это паршиво! Нет, нет. Он мертв конечно. Конечно, он мертв. В понедельник умер. Надо издать закон, чтобы для верности прокалывали сердце или проводили в гроб электрический звонок или телефон и чтоб было какое-нибудь отверстие для воздуха, прикрытое полотном. Сигнал бедствия. Три дня. Летом это довольно долго. И как только уверенность, что всё,— моментально от них избавляться.

Глина падала глуше. Уже начинается забвение. С глаз долой, из сердца вон.

Смотритель отошел на несколько шагов и надел шляпу. Хватит с него. Провожающие успокаивались один за другим и скромно надевали шляпы. М-р Блум надел шляпу и поглядел вслед дородной фигуре, быстро удалявшейся по лабиринту могил. Спокойно, уверенный в себе, шел он по полям скорби.

Хайнз что-то заносит в записную книжку. А, фамилии. Да ведь он их все знает. Нет: подходит ко мне.

— Я записываю имена,— шепнул Хайнз.— Как вас зовут по имени? Я не помню точно.

— Л,— сказал м-р Блум,— Леопольд. И запишите также Мак-Коя. Он меня просил.

— Чарли,— сказал Хайнз, записывая.— Я знаю. Он когда-то работал в „Фримэне".

Действительно работал, до того, как устроился в морге у Луиса Бэрна. Превосходная идея для врачей вскрытие трупов. Находят то, что, им кажется, они знают. Он умер во вторник. Его выгнали. Удрал с деньгами за несколько объявлений. Чарли, ты мой душка. Вот почему он меня просил. Ну, ладно, не беда. Все в порядке, Мак-Кой. Спасибо, старина; премного обязан. Пусть остается со своим обязательством: ничего не стоит.

— Послушайте,— сказал Хайнз,— а вы не знаете того парня, в этом, того парня, что стоял там, на нем еще был этот...

Он поглядел по сторонам.

— Макинтош. Да, я его видел — сказал м-р Блум.— А где он теперь?

— Мак-Интош,— сказал Хайнз, записывая.— Я его не знаю. Это его фамилия?

Он отошел, глядя по сторонам.

— Нет,— начал м-р Блум, обернулся и остановился.— Слушайте, Хайнз. Не слышит. Что? Куда он продал? Ни следа. Что за чушь! Кто-нибудь видел? Ка е эл эл и. Стал невидимым. Господи боже мой, что с ним случилось?

Седьмой могильщик остановился подле м-ра Блума и поднял свободную лопату.

— Ах, простите!

Он поспешно отошел в сторону.

Глина, коричневая, влажная, стала видима в яме. Она поднималась почти через край. Насыпь влажных комьев росла все выше, росла, и могильщики бросили лопаты. Снова все на несколько секунд сняли шляпы. Мальчик прислонил свой венок к углу: зять свой к куче. Могильщики надели шапки и понесли облепленные землей лопаты к тачке. Потом слегка постукали ими о землю: чисто. Один нагнулся и снял с лопаты длинный пучок травы. Другой отделился от товарищей и медленно пошел, держа на плече свое синеблещущее оружие. Еще один молча сматывал у изголовья могилы канат, на котором спускали гроб. Его пуповина. Зять, отвернувшись, сунул ему что-то в свободную руку. Безмолвная благодарность. Сожалею, сэр: беспокойство. Кивок. Знаю. Это вам.

Провожающие уходили медленно, без цели, боковыми тропинками, на минутку останавливаясь, чтобы прочесть имя на плите.

— Пойдем кругом, мимо могилы вождя,[1] — сказал Хайнз. — У нас еще есть время.

— Пойдем, — сказал м-р Пауер.

Они свернули направо, вслед за своими медленными мыслями. Беззвучный голос м-ра Пауера сказал благоговейно:

— Говорят, его вовсе и нет в могиле. В гроб будто бы положили камни. Настанет день и он вернется.

Хайнз покачал головой.

— Парнелл никогда не вернется, — сказал он. — Он лежит здесь, все, что в нем было смертного. Мир праху его.

М-р Блум, никем не замеченный, пошел вдоль аллеи грустных ангелов, крестов, сломанных колонн, фамильных склепов, каменных надежд, молитвенно поднимавших очи горе, сердец и рук старой Ирландии. Гораздо умней было бы все эти деньги потратить на помощ живым. Молитесь за упокой его души. А кто нибудь в самом деле молится? Сунули в землю и дело с концом. Как в угольную яму. Потом сваливают в кучу, чтобы скорей отвязаться. День всех усопших. 27-го приду на его могилу. Десять шиллингов садовнику. Выпалывает сорные травы. Сам уже старик. Согнувшись пополам, щелкает ножницами. На пороге смерти. Покинувший. Ушедший из жизни. Как будто они это делают добровольно. Дали дуба, все до одного. Который сыграл в ящик. Гораздо интересней, если бы было сказано, кто они такие были. Такой-то и такой-то, каретник. Я был вояжером по линолеуму. Я платил пять шиллингов за фунт. Или у женщины, со сковородкой. Я чудно готовила тушеное мясо по-ирландски. Эклога на сельском кладбище названье стихотворенья чье это не то Вордсворта не то Томаса Кэмпбелла. Обрел вечный покой, говорят протестанты. Как у старого д-ра Муррена. Великий врач призвал его к себе. Ну, конечно, для них это божья пашня. Чудная загородная дача. Все заново оштукатурено и окрашено. Идеальный уголок, можно спокойно покурить и почитать „Церковную газету". Брачные объявления без всяких прикрас. Ржавые венки висят на шестах, гирлянды из бронзовых листьев. Лучше бы превратить все это в деньги. Впрочем, цветы поэтичней. А эти приедаются, никогда не вянут. Ничего не выражают. Иммортели.

---

[1] Речь идет о Чарльзе Парнелле (1846—1891), популярнейшем лидере ирландского освободительного движения.

Птица, сидела, как ручная, на тополевой ветке. Точно набитая. Точно подарок на свадьбу, который нам преподнес гласный Купер. Кш! Ни с места. Знает, что тут нет рогаток, нечем в нее стрелять. Мертвое животное еще грустней. Мусинька-пусинька хоронит маленькую мертвую птичку на кухне в спичечной коробке, венок из маргариток и осколки пестрого стекла на могилу.

А это святое сердце: показывает. Нараспашку. Должно бы быть сбоку и красное, как настоящее сердце. Ирландская святыня или что-то в этом роде. Вид почему-то очень недовольный. К чему все это? Может, птицы прилетят и будут клевать, как у того мальчика с фруктами в корзине, но он сказал нет, потому что они могли испугаться мальчика. Это Аполлон был.

Как их много. Все когда-то гуляли по Дублину. В бозе почили. Что ты ныне есть, тем некогда были мы.

Кстати, как их всех запомнить? Глаза, походка, голос, ну, голос, да: граммофон. Держите граммофон в каждой могиле или в каждом доме. После обеда в воскресенье. Поставь-ка бедного дорогого прадедушку. Краараак. Аллоаалло чрезвычайнорад краак чрезвычайнорадвидетьвасопять алло-алло чревзра коптфс. Напоминает голос, как фотография лицо. Иначе, как вы вспомните лицо через пятнадцать лет? Чье, например? Например, того парня, что умер, когда я служил у Висдом Хели.

Ртстстр! Камешки гремят. Обожди. Стоп.

Он напряженно заглянул в каменный склеп. Какое-то животное. Подожди. Вот оно бежит.

Жирная серая крыса пробежала вдоль стены склепа, гремя камешками. Старожил: прадедушка: знает все ходы и выходы. Серое проползло под плинтус, свернулось под ним. Тут клад спрятать хорошо.

А кто тут лежит? Покоятся останки Роберта Эмери. Кажется, Роберта Эммета хоронили здесь при свете факелов.

Теперь хвост исчез.

Этакая бестия в одну минуту с тобой справится. Дочиста обгложет кости, плевать ей, кто и что. Обыкновенная пища для них. Труп, это испортившееся мясо. Ну а сыр что такое? Труп молока. Я читал в „Путешествиях в Китай": китайцы говорят, что белый воняет трупом. Сжигать лучше. Священники слушать об этом не хотят, хлопочут за конкурирующую фирму. Оптовые сжигатели и поставщики голландских печей. Эпоха чумы. Ямы с негашеной известью, сжигают дотла. Живодерня. Прах к праху. Или хоронить в море. Где это башня молчания парсов? Съеден птицами. Земля, огонь, вода. Говорят, приятней всего тонуть. В один миг проносится вся жизнь. А снова возвращаться к жизни—нет. А в воздухе хоронить никак нельзя. С воздухоплавательной машины. Интересно, скоро ли распространится новость, когда спустят свежего? Подземное сообщение. Мы от них и научились. Нисколько бы не удивился. Регулярное здоровое питание для них. Еще и умереть как следует не успеешь, а мухи уже тут как тут. Учуяли Дигнэма. На вонь не обращают внимания. Белая, как соль, рассыпчатая трупная каша: на запах, на вкус, как сырая белая репа.

Впереди мерцали ворота: еще отперты. Обратно в мир. Довольно. Всякий раз приближаешься на шаг. В последний раз, когда я тут был, хоронили миссис Синико. Бедный папа тоже. Любовь, которая убивает. Даже разрывают ночами землю с фонарем, вроде того случая, что я читал, ищут свежепогребенных женщин или даже разлагающихся с открытыми трупными язвами. Сразу мороз по коже. Я явлюсь к тебе после смерти. Мой дух

явится к тебе после смерти. Есть другой мир после смерти, называется ад. Я терпеть не могу тот другой мир, писала она. Я тоже. Еще много чего можно увидеть и услышать и почувствовать. Чувствовать подле себя живые, теплые существа. Пусть они спят в своих червивых постелях. До меня еще очередь не дошла. Теплая полнокровная жизнь.

Из боковой аллеи вынырнул Мартин Кэннингхэм, говоря что-то серьезное.

Стряпчий, я думаю. Я знаю его лицо. Ментон. Джон Генри, стряпчий, комиссионер по клятвам и присягам. Дигнэм часто ходил в его контору. Мат Диллон, давным давно. Веселые вечеринки у Мата. Холодная дичь, сигары, бокалы. Поистине золотое сердце. Да, Ментон. Чуть не лопнул от бешенства в тот вечер на площадке для игры из-за того, что я налетел на него. Чистая случайность: мой косой бросок. С того момента он меня и не взлюбил. Ненависть с первого взгляда. Молли и Флуи Диллон под руку под кустом сирени, хохотали. Такие, как он, всегда смертельно обижаются, когда присутствуют женщины.

На цилиндре сбоку пролом. В карете, наверно.

— Простите,—сказал м-р Блум подле них.

Они остановились.

— У вас цилиндр слегка помялся, — сказал м-р Блум и показал. Джон Генри Ментон секунду смотрел на него, не шевелясь.

— Вот тут, — помог Мартин Кэннингхэм и тоже показал.

Джон Генри Ментон снял цилиндр, выправил складку и тщательно обтер ворс рукавом. Он снова напялил цилиндр на голову.

— Теперь все в порядке,—сказал Мартин Кэннингхэм.

Джон Генри Ментон дернул головой в знак благодарности.

— Благодарю вас, — сказал он коротко.

Они пошли к воротам. М-р Блум уныло поплелся сзади, на расстоянии нескольких шагов, чтобы не подслушивать. Мартин поучал. Мартин может обкрутить такого болвана вокруг пальца так, что тот даже не заметит.

Глаза как у устрицы. Ничего. После еще пожалеет, когда поймет. Превосходство на моей стороне таким образом.

Благодарю вас. Как мы сегодня утром великолепны.

Перевел с английского Вал. Стенич.

КОММЕНТАРИЙ К „ПОХОРОНАМ ПАТРИКА ДИГНЭМА“

Единственное изобретение человечества — это могила.

Поль Элюар.

Перед нами открываются, быть может, одни из наиболее пессимистических страниц в мировой литературе. Диалог Лукиана о сошествии Одиссея в ад, сцена с могильщиками в „Гамлете“, рассказ Свифта о пытке бессмертием в его „Путешествии Гулливера в Лапуту“, стихи Микель-Анджело на надгробном памятнике Медичи, католические гимны „Diesirae“ и „Miserere“ — вот то немногое, что может быть сравнено с мрачной силой эпизода „Улисса“, посвященного похоронам Патрика Дигнэма.

„Улисс“ — это проповедь самоотрицания всей буржуазной западной цивилизации, обнажения и выпячивания напоказ ее язв, проповедь социального пессимизма, человеконенавистничества, бесплодия и обреченности. Это — стремление к разрушению закономерности материального мира и человеческой мысли, к превращению бытия в хаос, „патетика распыления и исчезновения“. Эпизод похорон Патрика Дигнэма говорит о смерти, о тлении, о всеобщем разрушении. Разложение трупа цивилизации у Джойса становится загниванием страдающего человечества, заживо разлагающегося, покрытого трупными язвами. Как Фома неверующий, Джойс вкладывает персты в эти открытые гноящиеся язвы.

Время действия эпизода — 11 часов утра, похоронный час „дня Блума“. Место действия — кладбище. Действующие лица — Леопольд Блум, герой „Улисса“, ирландский еврей, человек случайных профессий, сейчас агент по сбору объявлений, и его приятели: Саймон Дэдалус, отец Стивена Дэдалуса, второго протагониста „Улисса“, Мартин Кэннингхэм и м-р Пауер, знакомые русскому читателю по сборнику рассказов Джойса „Дублинцы“, репортер Хайнз, гробовщик Корни Келлехер, смотритель кладбища Джон О'Коннелл, могильщики, священник с причетником, погонщики скота и др.

Эпизод развертывается в двух планах: натуралистическом и символическом. Мир, видимый изнутри, из мозга Блума, фантастически искажен мыслями о смерти, раскрывается в аспекте тления. Самый воздух отравлен зловонными газами, поднимающимися из могил.

Все звуки и шумы траурной симфонии этого эпизода запечатлены Джойсом с предельной точностью. Цокают спотыкающиеся копыта по камням развороченной мостовой, громыхает каменная осыпь под ногой, бросает резкий скрежещущий крик гравий под металлическими колесами. Жирно шлепают подошвы по грязи, унавоженной трупами, глухо ударяются комья, падающие в открытую могилу.

Таков натуралистический пейзаж этого эпизода.

Но натуралистические фотографии становятся кадрами экспрессионистского кино. Добросовестная топография Дублина превращается в топографию дантовского ада или, вернее, ада страстного католика, ставшего не менее страстным атеистом. В мозгу Блума тянется цепь агоний: самоубийство отца, следствие у его трупа, тело младенца сына в гробу, смерть нищей старухи в богадельне, сенсационное убийство Чайльдза, картина собственной смерти. По улицам Дублина бродят призраки, мертвецы, обуреваемые плотскими желаниями, похороненные заживо, задохшиеся под крышкой гроба. Черви со всех сторон сползаются к могиле, передают друг другу весть о появлении свежего мертвеца. Мертвецы встают со своих червивых постелей, ищут в мусоре и плесени свои разбившиеся сердца и прогнившие внутренности, „печени, легкие и прочее барахло“, вытряхивают пыль из собственных черепов. В обывательском семейном доме с граммофонной пластинки хрипит замогильный голос покойного прадедушки: „Аллоалло чрезвычайнорад краак чрезвычайноражвидетьвасопять аллоалло чревзра коптфс“. Шум осыпающихся камней переходит в стук костей, крики и хрипенье агонизирующих, зубовный скрежет грешников в аду, danse macabre смерти. „Кости стучат. Камни гремят... Кости стучат... Ртстстр. Камешки гремят“.

Вся эта гамма оттенков трупного разложения („зеленеют и розовеют, разлагаются, потом чернеют, сукровица из них сочится... потом высыхают), различные ритмы стука костей в „пляске смерти“, запах, вкус, цвет, влажность и рассыпчатость трупной каши — все это до жути отчетливо, осязаемо, реально. Достигнута предельная острота всех человеческих чувств — зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса.

Так видели мир французские натуралисты конца XIX — начала XX в. У Мопассана, у Гонкуров и в особенности у Гюисманса и Мирбо встречаются подобные страницы,

никогда, впрочем, не достигающие той потрясающей дантовской силы изложения, как у Джойса. Золя в своих теоретических статьях требовал „клинических отчетов" о язвах человечества, вскрытия человеческой души на анатомическом столе, „экспериментальной физиологии" „человека-зверя". Экспериментальное изучение каждой мышцы, сводимой судорогой агонии, механики полового акта, микроанализа человеческих страстей, — таково было наследие, завещанное Джойсу французским натурализмом.

В „Улиссе" жив мрачный натурализм католической церкви. Недаром французский натурализм эпохи его разложения связан с расцветом различных форм неокатолицизма. На страницах Джойса оживают образы средневековья, поздней готики, барокко. Вспоминаются распятия в человеческий рост, где беспощадно обнажено уродство тощего, грязного, изъязвленного, скорчившегося в пытке тела христа; фрески Страшного суда, где кричит пытаемая человеческая плоть и катается по земле огромным клубком судорожно свившихся, изломанных, неестественно переплетенных тел; отрывки из публичных проповедей и секретные инквизиционные протоколы, — словом, вся грязь и мерзость бытия, извлеченная наружу церковью, возненавидевшей плоть человеческую.

Джойс — непревзойденный мастер натуралистической детали. У него образ взорван изнутри и рассыпается осколками, брызгами. Чувственный образ вещи распадается на простейшие ощущения или даже элементы ощущения, изолированные, вырванные из общей связи вещей. Все явления мира подвергаются непрерывному членению, разъятию на части. Возникает стремление разъять вселенную на атомы, взорвать все связи и закономерности вещей, найти бесформенную „первичную субстанцию, всего сущего, вернуть мир в изначальный хаос. Так рождается джойсовская деталь.

Художественная техника Джойса в свое время была метко определена Карлом Радеком как „фотографирование навозной ямы через микроскоп при помощи киноаппарата". Джойсовский микроскоп разлагает мир на детали, чудовищно увеличивает каждую деталь.

Каждый атом бытия превращается в микрокосм, замкнутую, внутренне закономерную солнечную систему, вращающуюся по своим собственным законам. Джойсовский киноаппарат смещает весь образ. Утверждается относительность времени и пространства, их обратимость и переместимость. Разрушается единство перспективы, сменяющейся цепью новых, разнообразных перспектив. Искажаются относительные масштабы и очертания предметов. Картина мира разорвана на отдельные кадры. Смещаются законы движения. Рычаг времени может быть повернут в любую сторону и с любой скоростью. Знаменитый „внутренний монолог" Джойса — кинематографизация процессов мышления.

Так, сочетая микроскоп с киноаппаратом, Джойс строит из натуралистических деталей фантастический образ, символ, входящий неразрывным звеном в общую систему символики „Улисса". Возникает образ священника в „Похоронах Патрика Дигнэма". Он собран из множества точно выверенных, остро-экспрессивных деталей: толстая морда, вздувшаяся мускулатура, вспученное брюхо, выпяченные жабьи глаза, квакающий голос. В целом — это яркий антиклерикальный символ католицизма, подобно вампиру, склонившегося над раскрытой могилой. В античной символике Джойса это — Цербер у входа в царство Гадеса. Так строили свои образы Иероним Босх и Франциск Гойя.

Как раскрываются похороны Дигнэма в трех планах символики „Улисса" — античном, церковно-схоластическом и фрейдистском?

Античная символика — сложная система параллелизмов с „Одиссеей". Похороны Дигнэма соответствуют сошествию Одиссея в подземный мир.

В этом эпизоде „Улисса" слышатся отзвуки гомеровского описания царства смерти-

Так, в этот похоронный час „дня Блума“ Дублин окутан плотным, непроницаемым туманом, всей нарастающей атмосферой жаркого, влажного удушья. Священник сыплет из своей кропильницы густой, тяжкий, удушливый сон. Воздух отравлен зловонными могильными газами.

У Гомера за Океаном, обтекающим землю, открывается мрачная Киммерия, царство теней, „туманный дом Гадеса“, где никогда не всходит солнце.

На дублинском кладбище лежат мертвецы „поле за полем“. Расстилаются „священные поля мертвецов,“ „поля ужаса“, усеянные в мечтах Блума исполинскими масками. В тусклом полумраке царства Гадеса раскинулись обширные поля асфоделей, где бродят тени ахейцев. Четыре реки протекают на пути похоронной процессии с телом Патрика Дигнэма: Лиффи, Доддер, Большой и Королевский каналы Дублина. Четыре реки омывают царство Гадеса.

Блум-Улисс спускается живым в царство теней. Его приветствует сам Гадес, бог подземного мира, смотритель кладбища, почтенный Джон О'Коннелл, потомок Даниила О'Коннела, „удивительно плодовитого человека и притом великого католика, точно гигант в мраке“. Первая тень, встречающаяся на пути у него, — Дигнэм-Эльпенор. Тени героев спешат ему навстречу; в траурной листве кладбища проходит ряд монументов. Он приветствует тени Геракла и Агамемнона — могилы Даниэля О'Коннелла и Чарльза Парнелла, вождей ирландского освободительного движения. Путь его пересекает великий Орион, пасущий зверей зодиака на лугах асфоделей, — погонщик скота, сопровождающий стадо на бойню. Священник носит застывшую маску Цербера. Образы адских мук — Сизифа, Иксиона и Данаид — встречаются ему в лице Мартина Кэнингхема и старого бродяги. Отзвуки пророчества Тирезия звучат в упоминании о Роберте Эммете.

С потрясающей силой звучит в рассказе о похоронах Патрика Дигнэма одна из „вечных тем“ мировой литературы: любовь — смерть. Форма ее выражения — фрейдистская символика. Центральный символ „Улисса“ — поток сексуальной энергии „первичной стихии“ мира, изливающейся в небытие, в пустоту, в бесформенный хаос. Любовь, рождающая добычу смерти — жизнь, брызги семени, растекающиеся созвездиями, солнечными системами, мириады островов и земель в океане мироздания.

Так строится фрейдистская символика „Улисса“.

> Любовь, которая убивает. Даже разрывают ночами землю с фонарем вроде того случая, что я читал, ищут свежепогребенных женщин и даже с разлагающимися трупными язвами... Муки Тантала для бедных мертвецов. Запах поджариваемого бифштекса для голодных, грызущих корку. Появляется желание... В царстве смерти мы живы. Оба конца сходятся.

Сложнейшая церковно-схоластическая система символов „Улисса“ включает символику цвета, органов тела, наук и искусств. В эпизоде похорон Дигнэма орган тела — сердце, искусство — религия, цвета — черный и белый, центральный образ — смотритель кладбища, Гадес царства теней.

Образ сердца красной нитью проходит сквозь весь эпизод. Мысли Блума, на некоторое время отхлынув, вновь возвращаются к нему, он регулирует их приливы и отливы. Блум думает о причине смерти Дигнэма — разрыве сердца, обо всех разбитых и гниющих сердцах, разбросанных кругом под кладбищенскими плитами, о ржавых насосах человеческого организма, перестающих накачивать гнилую кровь, об изображении Святого сердца на кладбище, страдающего, истекающего кровью сердца человечества.

Мрачная декоративность католицизма проникает описание похорон Дигнэма. Подробно описаны все моменты похоронных обрядов, религиозные церемонии, фигура святых на монументах, ирландская святыня — сердце Иисуса. Длинной вереницей проходят в мыслях Блума все предшествовавшие исторические формы религиозного погребения.

Траурны цвета царства теней — черный и белый.

Тусклый полумрак страны смерти стирает все краски, оставляя только гамму черного и белого.

Весь этот двойственный мир, натуралистический и символический одновременно, раскрывается в „внутреннем монологе“ Блума.

Вот он перед нами — Леопольд Блум, человек, черепная коробка которого как бы срезана сверху и обнажен ход его мыслей. Произведены глубокие взрезы его психики, захватывающие, сокровенные слои подсознания, обнажающие кровоточащие и гноящиеся тайники его „я“. Найдено некое „золотое сечение“ процесса мышления. Постепенно, шаг за шагом, снимаются все покровы с его страстей, стираются черты класса, нации, профессии, личности, остается „голый человек“, „человеческий примитив“, „какое-то жуткое арифметическое среднее из обывателя“. Голый человек перед лицом смерти.

Запись мысли в момент ее становления — такова техника знаменитого джойсовского „внутреннего монолога“. Его простейшая клетка — слово-предложение, бесформенный эмбрион мысли, со всеми еще не отделившимися и не зажившими еобственной жизнью многочисленными щупальцами ассоциаций. Но это не стенографическая регистрация всего процесса мышления, всех мыслей, ассоциаций, ощущений, рефлексов, как утверждала почти вся наша критика. Из хаоса сырых ассоциаций делается строжайший отбор по законам методики психоанализа.

Техника „внутреннего монолога“ предполагает сознание разделенным на ряд расположенных друг над другом слоев.

В верхних, ярко озаренных слоях происходит постоянное движение, перемещение атомов, в нижних, наиболее глубоких и затененных пластах, как на дне океана, в сумраке и неподвижности цепенеют флора и фауна подсознательного, вытесненные воспоминания раннего детства, извращенные влечения и страсти. Иногда, в силу какого-нибудь толчка, от нижних пластов отрываются частицы и поднимаются на поверхность сознания; иногда оттуда начинают бить горячие ключи, пробивая кору и вырываясь наружу.

В каждый данный момент „внутренний диалог“ охватывает одновременно несколько слоев сознания, лежащих на различных глубинах. Это — метод своеобразного „одновременного видения“: он многопланен, потому что стремится охватить всю многопланность и многомерность сырого мышления. Отсюда — многопланность композиции всего „Улисса“. Шаг за шагом, звено за звеном, производится медленная, упорная кропотливая работа разрушения логической закономерности мышления и материальной закономерности мира, отраженного в нем. Происходит отлив мыслей, и обнажается самое дно памяти, „пра-память“, тайники подсознания, скрытые от дневного света разума. Так Джойс ищет изначальное ядро психики, сексуальную стихию, „первичную субстанцию“ мироздания, из которой создаются звезды и мысли.

Но подлинный смысл этого эпизода целиком раскрывается только в „Вальпургиевой ночи“ (сцене в публичном доме). Похороны Патрика Дигнэма перерастают в символ всеобщего разрушения, разложения, смерти. Они проникнуты „пафосом самоубийства“ современной буржуазной цивилизации, отвращением к созидающей и организующей силе разума, ненавистью к предметности, материальной сущности окружающего мира и к его физической и историчесиой закономерности, анархической жаждой разрушения и стремлением превратить мироздание в хаос.

В „Вальпургиевой ночи“ дух Патрика Дигнэма — символ гниющего, заживо разлагающегося, озверелого человечества. Живой мертвец, полусгнивший труп, он встает из гроба в саване, обдавая все кругом зловонием, становится на четвереньки, поднимает к небу свое изуродованное сифилитическое лицо с изъеденным червями носом и половиной уха и тоскливо воет на луну.

Мир предстает в трупном аспекте. „Труп — это испортившееся мясо... Ну, а сыр что такое? Труп молока". Во все стороны раскинулись „священные поля мертвецов", „поля ужаса", целые мертвые города на пустынной земле. Земля кишит червями, а небо давит, как крышка гроба. Земной шар — мумия, прикованная к остывшему трупу солнца.

> ... вот тут они лежат вокруг него поле за полем. Священные поля. Было бы больше места, если бы хоронили стоя. Сидя или на коленях не годится. Стоя. Если случится землетр сение, покажется голова или простертая ввысь рука. Всю землю надо разбить на соты: прямоугольные клетки.

Так „мусорщик и могильщик капиталистического мира" Джойс, склонившись над его трупом, вздыхает разложение мира в глубине открытой могилы.

Р. Миллер-Будницкая.

К истории фабрик и заводов

А. Ульянский

Путиловские хозяева

Глава из „Истории завода „Красный путиловец“

1. ГЛУБОКАЯ ВОДА

Путиловский завод начал оживать, когда государственная казна, опустевшая после войны и революции, снова наполнилась и правительство приступило к выполнению давно задуманной военной программы. Речь шла о возобновлении флота, погибшего при Цусиме, о перевооружении артиллерии, потрепанной на манчжурских полях. Надо было не только заново создать военную базу, но и поднять ее на технический уровень Западной Европы, где в это время создавались новейшие дредноуты, 14-дюймовая артиллерия, первые аэропланы, дирижабли.

Путиловский завод снова стал на путь военных заказов. Предыдущая его работа в значительной части оказалась работой на Цусиму. Одна часть военно-морских работ, выполненных заводом, пошла на дно: башенные установки на „Александре III“, „Суворове“, „Ушакове“, минные аппараты на „Наварине“, машинная рама, в 4500 пудов весом, на „Бородине“ и т. п. Другая часть: башни на „Сенявине“, первые в русском флоте башни с электрическим управлением на „Апраксине“, штевни на „Орле“ — попали в японский плен. Запасы снарядов для крупной артиллерии, погибшие в Цусиме, также в значительной части были путиловского происхождения. Для сухопутной артиллерии роль Цусимы сыграли Мукден и Ляоян, где была брошена артиллерия в том числе, немало пушек с путиловскими клеймами.

Военная база была нужна правительству для новой войны. После поражения на Дальнем Востоке экспансия русского империализма передвинулась на Ближний Восток и в основном шла по линии Дарданелл. Царь и генералы, ничему не научившиеся, готовились предпринять еще одну „маленькую победоносную“ войну и уже в 1910 г. разрабатывали план сепаратной войны с Турцией.

На перевооружение армии правительству было отпущено в виде чрезвычайного кредита более миллиарда рублей, в том числе 200 миллионов на артиллерию, полмиллиарда на флот. Деньги эти должны были расходоваться в течение ряда лет. Артиллерийские заказы не могли миновать Путиловский завод. Путиловская трехдюймовая пушка составляла основу вооружения русской полевой артиллерии и не была превзойдена другим образцом. Образцы противоштурмовой и противоаэростатной пушки, принятые в армии, также были выработаны Путиловским заводом и составляли его собственность. На некоторые более крупные калибры (48 линий, 6 дюймов) заводу принадлежало право преимущественного их производства в России по чертежам Круппа или Шнейдера или обоих вместе (орудие системы Шнейдера с башмаками Круппа и т. п.). Производство этих систем уже было освоено заводом, и хотя морской министр Воеводский тяготился зависимостью обороны от частного завода и настаивал на передаче заказов казенному Обуховскому заводу, он не нашел поддержки у военного министра Сухомлинова.

Воеводский хотел добиться такого положения, чтобы иностранные заводы продавали чертежи непосредственно военному ведомству, а военное ведомство само бы